

Но, во-первых: Щенок.

Он пришел в середине лета, держась снаружи комнаты — мрачная тень, тихое дуновение ветра. Его присутствие источало вонь. Тяжелое и распухшее, оно воняло скорбью и отвращением к самому себе, обрезанными по краям усталостью, завёрнутыми в потрескивание статического электричества и кольца озона. В первый раз, когда Курама почувствовал его чакру, его младенческую кожу словно обожгло — и в волне чистой, разъедающей ненависти биджу, едва взятой под контроль, можно было захлебнуться. Щенок был таким знакомым. Слишком знакомым.

А ещё он был невероятно, невыносимо, Отец побери, близко.

Щенок наблюдал. Он делал это очень часто, но никогда не показывался сам, в отличие от Человека-Обезьяны, и поэтому Курама не мог даже получить немного удовольствия от визжания в его лицо подобно нечистой банши, и наблюдения за тем, как он дёргается. Щенок сидел на потолке, в углах и порой прятался на дереве рядом с единственным крошечным окном в комнату, но всегда сохранял дистанцию не меньше пяти метров. Это было за пределами радиуса действия способности Курамы лопнуть его барабанные перепонки.

Новые лёгкие Курамы, хотя и были дурацкими и в основном бесполезными, великолепно годились для криков.

Это, честно говоря, было единственным, на что они действительно годились.

Но Курама не мог кричать в пустоту. Это не приносило никакой выгоды. В первые две недели пребывания в этой тупой оболочке он пытался, и всем, что он в итоге получал, были сорванный голос, головная боль и быстрый, безжалостный уход ко сну. Нехотя Курама признал, что это было непрактично. Кроме того, шум будил кушиново отродье. Тогда оно начинало плакать, отвратительно, громко и совсем рядом с ухом Курамы, и он должен был признать, что быть тем, кто слушает все эти вопли крошечного младенца, было очень, очень неприятно.

Хотя отродье было просто в принципе неприятным. Несмотря на всё его доверие, в котором Курама нуждался, существовала очень большая и очень раздражённая часть его мозга, которая хотела задушить этого мелкого белобрысого засранца при первой же возможности, что, учитывая, что они застряли вдвоем в одной колыбельке, было постоянно. Терпеть его было совсем непросто. Отродье цеплялось за Кураму как очень настойчивая пиявка, дергало его за волосы, слюнявило его коленки, и, по правде говоря, у Курамы больше просто физически не хватало сил оттолкнуть его прочь после того, как отродье вешалось на него двадцать семь раз подряд, отказываясь сдвинуться.

Иногда Курама мечтал о том, чтобы разорвать отродью глотку. У него не было достаточных двигательных навыков, чтобы это проделать, но он мечтал.

Он следовал примеру отродья, когда дело доходило до первых шагов. Кураме это не нравилось, но у него не было ни малейшего представления о том, каковы были важные вехи в развитии

тупых человеческих младенцев, и он пока ещё не настолько сошёл с ума, чтобы прибегать к самоубийственным методам. Пока ещё. Это был просто тщательно рассматриваемый вариант действий, который становился всё более и более заманчивым с каждым днём, особенно когда всё лицо и передняя часть футболки Курамы были покрыты молочной смесью.

Он всё ещё не собирался действительно сделать это.

И, таким образом, всё должно было быть тщательно рассчитано по времени.

Курама уделял особое внимание бормочущему детскому лепету, который издавало отродье, и повторял его, когда не был занят визгом. Он удерживал в себе большую часть своей кашеобразной, отвратительной детской пищи. Спустя два коротких дня после того, как отродье сумело пронестись из одного конца комнаты в другой, Курама в первый раз сумел проползти на четвереньках.

Ползание было ужасным, невозможным, и Курама ненавидел его изо всех сил.

Конечности Курамы были неправильной длины. Они были неправильной формы, и они либо не хотели двигаться как положено, либо не хотели двигаться вообще, и точка. Два жалких метра пола ни в коем случае не должны были быть таким утомляющим и раздражающим препятствием.

Но они были. О, они были.

У отродья не было такой проблемы.

Отродье было буквально шаром гиперактивной энергии. Оно скакало больше, чем ползало, и взялось за исследование их очень пустой и очень скучной комнаты так, словно это был его личный долг. Его другим личным долгом, судя по всему, было мешать прогрессу Курамы, в основном методом повисания на его животе и яростного жевания его рукава, плеча или чего-нибудь. Чего угодно. Включая нелепые, красные, как у Кушины, волосы Курамы.

Это действие всегда приводило отродье в странный восторг. Каждый раз, когда Курама отталкивал его в сторону своими слишком маленькими и неуклюжими детскими руками, отродье просто продолжало с ещё большим усердием. По-видимому, его трижды проклятые предки сумели передать ему многие свои черты, несмотря на то, что прожили едва ли пять минут после его рождения.

— Угх, — неразборчиво произнёс Курама. Отродье повисло на его плече и принялось тащить в рот его волосы, издавая при этом отвратительное хихикание.

— Угх, — прошипел Курама в деревянный пол, потому что отродье уже почти лежало на нём, и оно было тяжёлым, вот почему оно было таким тяжёлым. Кураму почти раздавило в лепёшку

под его слишком широкими конечностями и в его слишком крепких медвежьих объятьях.

И примерно так проходили почти все попытки Курамы куда-то ползти. Отродье ни в коей мере не обладало достаточной душевной стойкостью, чтобы оставить Кураму в покое хотя бы на пять минут.

В конечном счёте, у Курамы заняло две недели, чтобы, внутренне проклиная себя, поднять и протащить свое тело из одного конца этой чёртовой комнаты до другого, не вырубаясь в процессе. И благодарить трижды проклятую напасть кушинова отпрыска здесь было совершенно не за что. Когда эта веха была наконец-то — наконец-то! — преодолена, к ним заскочил Щенок.

Не мимолётная тень или слишком близкая сигнатура чакры, а настоящее присутствие. На самом виду. Да, на лице у него была маска, но, с его торчащими волосами и наэлектризованной чакрой, это был, без сомнения, Щенок.

У Курамы было много мнений о Щенке. Ни одно из них не было положительным.

Так что, совершенно резонно, он воспользовался этой возможностью, чтобы закричать, провизжать на самом высоком, пронзительном уровне децибел, на который он был способен со своими дурацкими крошечными лёгкими.

Щенок не дёрнулся явно, но Курама мог почувствовать вспышку его чакры, короткую и удивлённую, похожую на мысленный шаг назад. Курама с ликованием наслаждался ей, продолжая кричать, пока его голова не начала звенеть, а в горле не запершило. Тогда он закрыл рот и решительно нахмурился. Он моргал изо всех сил, и старательно не тёр свои виски от слабости.

Щенок... Смотрел на него.

Курама нахмурился сильнее.

Глупое отродье стремглав промчалось вперёд, поражённое этим новым, невиданным ранее дополнением к их комнате и принялось жевать Щенка за лодыжку.

Отродье обожало Щенка.

Просто чтобы быть противоположностью Курамы во всём, отродье обожало Щенка. Возможно, причиной этому было то, что первое, что Щенок сделал в присутствии отродья, это взял ярко разукрашенную погремушку из своего кармана и положил её в его неловкие детские руки, но отродье, как уже было сказано, обожало Щенка.

Оно не трогало Кураму, когда Щенок был рядом, что, по сути, было благословением. Вместо

этого его обычная энергия была направлена на отчаянное размахивание его короткими руками в жесте "подними меня!".

И Щенок поднял.

Нерешительно и колеблясь, с чакрой, словно нестабильные зыбучие пески, Щенок сделал это. Он поднимал отродье медленно и осторожно, поддерживая его шею, со скованностью в движениях, которая показывала, что он не имеет ни малейшего понятия, что творит. Не то чтобы это имело значение для отродья. Не то чтобы отродье было достаточно взрослым или достаточно много взаимодействовало с людьми, чтобы суметь понять. Отродье держали на руках, а потому отродье было счастливо.

Никто не брал отродье на руки. Человек-Обезьяна, разве что, но только ненадолго. АНБУ ещё, но только на те две секунды, которые требовались, чтобы переместить его из колыбели на пол. И Курама, но Курама не считался. У Курамы не было выбора. Отказывался он или нет, глупое отродье всё равно висло на нём, как сумасшедший осьминог.

Щенок поднял отродье и держал его на руках, и оно в ответ сияло дурацкой улыбкой.

— Гвагага! Га! — пролепетало оно, что на языке детского лепета означало победное "дай пять". Щенок обеспокоенно посмотрел на него в ответ.

Курама мрачно наблюдал за всей этой церемонией с пола.

И таким вот образом, Щенок занял своё место на вершине списка любимчиков отродья. Курама чувствовал, как разворачивается чakra отродья, свистящий, искрящий дождь удовлетворённости, которую Курама обычно связывал с принадлежащим отродью плюшевым кроликом или Человеком-Обезьяной. Это имело смысл. Отродье было в полном восторге от тепла и физического контакта. Щенок дал ему это. Он держал отродье на руках и осторожно, неловко качал его — нечто, чего никто ранее не делал.

Никто так же не делал ничего подобного с Курамой, что было только к лучшему, потому что Курама в ответ попытался бы выцарапать им глаза.

Между тем, пока чakra отродья настолько сияла счастьем, что это начинало вызывать головную боль, Щенок был настоящим сгустком... чего-то.

Много чего. Волнения. Скорби. Вины.

Курама прищурился. Угх. Это не вызывало жалости, поскольку у Курамы не было жалости для проклятых людишек, но... пожалуй, "жалко" было единственным подходящим словом. Жалкое зрелище, может быть?

После этого Щенок попытался поднять на руки Кураму, и тот мгновенно почувствовал, как любая жалкая жалость, которая у него была, высыхает и превращается в пелену ярости. Он оскалился и взвыл Щенку в лицо, и Щенок, поскольку он не был идиотом вроде кушинова отродья, убрал свои пальцы прочь, прежде чем их откусили.

Первый визит был явно пробным. Впоследствии Щенок приходил с тревожащей частотой. Он никогда не оставался надолго, только на пять-десять минут за раз, но он оставлял небольшие игрушки в их общей колыбели: мягкие жевательные соски, которые остужали рот Курамы, когда у него начали резаться зубы, плюшевый кролик, которого отродье сразу же монополизировало, уютные одеяла, пахнущие земляничным мылом. Иногда он приносил книги — с твёрдыми обложками, простыми предложениями и большими картинками — которые Курама использовал, чтобы бить отродье по голове, когда оно было особенно раздражающим.

Подкуп работал на отродье — каждый раз, когда заходил Щенок с новыми игрушками, одеждой и неловким ношением отродья на руках, отродью он нравился всё больше.

Подкуп не работал на Кураме.

По крайней мере, пока не появился шоколад.

В первый раз это была картонная коробка, полная маленьких глазированных пластинок, ореховых и вкусных — совершенно чуждое нападение на чувства Курамы. Он съел всё, что было в коробке, за день. Следующими были огромные шары из нежного белого шоколада, завёрнутые в золотистую фольгу. И их Курама тоже съел за один день. Щенок приходил и приносил штуки вроде мармелада, засахаренных фруктов и сладкого сока, нацеленные именно на Кураму, поскольку отродье всегда было больше заинтересовано в Щенке, чем в еде.

Это было унижительно.

Но это было вкусно. Ох, как это было вкусно. Вкус не был ощущением, ведомым Кураме ранее — сладкая округлость апельсина меж зубов, леденцы, тающие на его языке, тёплый шоколад, хруст свежего фрукта. Хвостатые имели вкусовые рецепторы. Хвостатые не ели. Это было совершенно иначе. Но в этот раз это было изменение к лучшему, и новая крошечная оболочка Курамы, похоже, обожала сахар с пугающе бескрайней беззаветностью.

Так что с тех пор каждый его визит Курама смотрел на Щенка с мрачным негодованием, и Щенок в ответ исполнительно передавал ему очередную палочку данго. Это было похоже на тренировку тупицы с целью сделать из него автоматический раздатчик конфет, за исключением того, что Курама отдавал себе отчёт, что тупица, в свою очередь, пытался тренировать его самого. Курама прекратил несвязно визжать при каждом появлении Щенка, но не то чтобы тот вообще теперь на это реагировал. И, ох, ладно, да, это было ещё и потому,

что в противном случае Кураме не досталось бы сладкого.

В данный момент сладости были единственным утешением Курамы в этой дурацкой ситуации. Они компенсировали, пожалуй, процентов пять всех его мучений. Кладя кусочек засахаренного имбиря в рот, Курама мысленно повысил число до семи процентов.

У него, по крайней мере, всё ещё было достаточно гордости и ярости, чтобы кусать Щенка за пальцы каждый раз, когда тот подносил их достаточно близко.

Когда пришло время, первым словом отродья было не "Менма", не "погремушка" и даже не "джиджи", несмотря на периодические появления Человека-Обезьяны и его последующие попытки убедить отродье выговорить что-нибудь понятное. К полному отсутствию удивления со стороны Курамы, эта честь была закреплена за Щенком. Слово была выплюнуто ему в лицо в конце одного солнечного, пыльного дня, наполовину перепутанное и едва попадающее в границы понимаемого.

Щенок мало разговаривал. Однако, в случаях, когда он оставался дольше чем на положенные десять минут, он заменял учителей из АНБУ, тыкая в разные предметы и безуспешно пытаясь заставить Кураму и отродье повторять следом.

Его маска, бело-чёрная, с красными полосками, была одним из таких предметов.

— И-ну, — пролепетало кушиново отродье, звуча очень довольно собой. — Ину-Ину!

Щенок застыл.

— Ину-Ину! — с ликованием выговорило отродье и запустило свои крошечные руки Щенку в волосы.

Переворачиваясь на своей куче из одеял, Курама вздохнул, когда чакра Щенка вспыхнула в удивлении. Она дрожала, дрожала в неуверенности. И вот этот мутный океан чувств, бурлящий всё сильнее, сильнее и сильнее...

Щенок бесцеремонно положил отродье обратно к Кураме, с отсутствующим видом погладил его по голове и исчез.

Отродье моргнуло. Его лицо сморщилось в непонимании.

— И-ну? — прочирикало оно и вцепилось в футболку Курамы.

И это значило, что дежурство с отродьем снова было на Кураме. Честное слово. Последние дни единственным временем, когда его оставляли в тишине и покое, были визиты Щенка. И Щенок

только что ушёл. Сбегая от отродья или чего бы то ни было, что отродье для него представляло. После первого визита за неделю.

И Курама ещё думал, что этот тупица сумел разобраться со всеми дурацкими человеческими чувствами, преследовавшими его. Очевидно, нет.

— ИНУ! — огорчённо сказала отродье ещё раз.

Очередной рывок, теперь за волосы. Курама порылся среди одеял, пока не достал любимую погремушку отродья, и швырнул её ему в голову.

Спустя два дня после того, как отродье сумело вынудить Щенка жалким образом сбежать, Курама пробулькал скупое "Не вверх!" в усталое, морщинистое, а затем радостное лицо Человека-Обезьяны. Конечно, это не были его настоящие первые слова. Курама разобрался с этим сразу же, как только у него выросли правильные зубы, и он смог заставить свой язык подчинить себе согласные — месяцы назад. "Проклятый сопляк!" было выщезено где-то в два часа ночи. Слова, конечно же, были обращены к отродью, подпитываемые моментом ненависти столь сильной, что каждый слог был выговорен с хирургической точностью. Тогда Курама проснулся посреди ночи из-за засранца, яростно жующего его руку.

Как и многие другие вещи, боль была чем-то, чего Курама никогда ранее не чувствовал. Она была ужасна. Курама стукнул отродье по голове. Отродье, разумеется, только вгрызлось в руку ещё сильнее.

Вся его одежда была в слюне. Опять.

Осень пришла вновь в вихре шуршащих под ногами листьев. Чакра тускнела, травы жухли, деревья запасали энергию в центрах своих стволов. Три недели у Щенка ушло на то, чтобы преодолеть свой кризис, и к моменту его возвращения от лета осталось лишь воспоминание.

Курама бы никогда в этом не признался, но он был очень, невероятно благодарен, что Щенок вернулся. Во-первых, он был кураминим автоматическим раздатчиком сладостей. Во-вторых, отродье дулось. Оно провело первые несколько дней в недоумении и печали, а затем, когда Щенок не появился через неделю, обвинился вокруг Курамы как лишняя конечность, словно думал, что Курама может точно так же взять и исчезнуть. Курама хотел бы так сделать. Но он, к сожалению, не мог, знаете ли, ходить.

К тому моменту, как вернулся Щенок, усталость, нехватка сна и бешенство дважды приводили к тому, что Курама пытался задушить отродье подушкой.

Это никак не помогало ему в выполнении его планов.

Как обычно, Щенок пролез в окно — дурацкая причёска, маска на лице, чакра плотно сжата. Было раннее утро, и от солнца пока было видно лишь бледную полосу на горизонте. Щенок приземлился на пол комнаты с грацией кошки. От него пахло множеством вещей — маслом и железом, и чем-то ржавым, похожим на несмытую кровь — и он нёс в руке большую тёмную миску с чем-то дымящимся. Курама посмотрел на Щенка с негодованием, смахивая прядь красных волос, упавшую ему на лицо. Отродье, едва заметив присутствие Щенка, немедленно попыталось перелезть через бортик колыбельки.

Приподнявшись, оно перевесилось через него, вытянув вперёд руки.

— Ину-Ину! — прощепетало отродье.

Прежде чем оно смогло выпасть из колыбели и удариться головой о землю, Щенок сдвинулся с места. Он поставил в сторону миску... Рамена? Рамена. Курама прищурился, перебрал сведения в своей голове, и да, это был рамен. Схватив отродье за ворот футболки, Щенок осторожно поднял его на руки, позволяя отродью молотить своими руками по маске АНБУ с тихими шлепками. Как всегда, чакра Щенка была бледной, темной скорлупой, выжженной до углей, строго ограничиваемой и усталой, даже когда отродье вызывающе засияло в его руках.

Щенок похлопал отродье по спине. Потом он попытался поставить его на пол, но безрезультатно. Отродье обвило свои неловкие конечности вокруг руки Щенка, словно удавку.

Щенок... посмотрел на отродье.

Он посмотрел на Кураму, и в его чакре звенело беспомощное "что мне делать".

Курама был жертвой этой ебучей удавки последние две недели. Он испытывал ноль сочувствия.

В конечном счете, Щенок просто посадил отродье себе на плечи и позволил ему жевать себя за волосы. Потом он склонился над колыбелькой. Пластиковая упаковка с шуршанием показалась в его руках. Курама схватил её, засунул под подушку, и, согласно их негласному соглашению, позволил Щенку поднять его на тот короткий промежуток времени, который потребовался, чтобы положить Кураму на пол.

Курама подполз к рамену, понюхал его и скривился.

Он пах... тяжело. Масляно. Странно. Курама нахмурился и отсел подальше. Он это трогать не

будет.

Следующие десять минут Щенок пытался накормить отродье ramenом. Сначала ему пришлось оторвать отродье от своей шеи, что было встречено с большим количеством вербального несогласия и визгливой истерикой. Потом, когда отродье было наконец-то на полу (держась одной рукой за штаны Щенка), ему нужно было переместить лапшу с бульоном в желудок отродью.

Из пяти ложек еды этой цели достигала только одна.

Остальное завершало свой путь на футболке отродья, в его волосах, на маске Щенка и на его перчатках.

Щенок посмотрел на миску с ramenом, затем на отродье. Курама мог слышать, как он вздыхает под маской.

— Ну, — тихо пробормотал он себе под нос. — Я пытался, Кушина-сан.

Крайне осторожно он поместил отродью в рот ещё одну ложку лапши, и эту он чудесным образом проглотил.

— Ням-ням! — сказала отродье.

Щенок бросил взгляд на Кураму, который в ответ скорчил гримасу, на девяносто процентов состоящую из оскала, и на десять из непримиримого маленького засранца. Никто не пытался накормить Кураму чем-либо с тех пор, как он понял, как работают его руки.

— Да, я понял. Не хотелось даже и пытаться, — сказал Щенок, продолжая кормить отродье. В его голосе было больше иронии, чем обиды. — М-ма, с каждым днём ты всё больше и больше похож на своих родителей.

Курама уставился на Щенка.

Что это вообще значило. У Курамы не было ни малейшего желания быть хоть сколько-то похожим на Узумаки Кушину или на мерзавца Намиказе. Они вообще были разных видов. Это просто— нет.

Он оскалится сильнее.

Щенок в ответ издал тихий звук, похожий на сдавленный смешок.

— С каждым днём.

Он отложил ложку в сторону и достал из-за спины белоснежную коробку с острыми краями и оранжевым бантом по центру. Снятая крышка легла на пол. Внутри были два маленьких пирожных, украшенных белой и шоколадной глазурью, с идеальной клубничкой на каждом. Одно из них было подвинуто в сторону Курамы, чтобы быть немедленно схваченным, после чего Щенок снял клубнику с другого и положил её в руки отродью.

Курама смотрел на Щенка.

Чакра бурлила под его кожей, наэлектризованная и пахнущая озоном — такая же усталая, скорбная и истощённая, как и всегда. Курама не собирался над этим заморачиваться. Он обратил своё внимание на пирожное. Сладости были, пожалуй, величайшим достижением в истории человечества, и Курама ел медленно и осторожно, смакуя вкус. Он ел клубнику по чуть-чуть, крошечными укусами, и одним глазом следил за тем, как Щенок позволяет отродью кусать себя за пальцы, делает смешные фигуры руками, которые отродье пыталось ударить. В течение долгого времени Щенок просто молча, без слов, играл.

Курама ел. Отродье тоже ело, если это можно было так назвать.

В комнате стояла тишина, прерываемая только полуоформившимся словарным запасом отродья.

Неожиданно Щенок заговорил снова. Отродье только что залепило половиной своего пирожного себе в рот, размазывая глазурь по щеке и подбородку, и Щенок пытался оттереть её носовым платком. Он остановился на полпути, его пальцы замерли, держа зелёную ткань возле подбородка отродья. Его голос был тихим и серьёзным. Сами слова звучали неестественно, словно отрепетированные.

Бледная рука потрепала отродье за волосы. После секундного колебания она дернулась и сделала то же с кураминными. Курама, разумеется, дёрнулся от неё прочь, стряхивая прядь красных волос со своего лица. Он посмотрел на Щенка с негодованием и ртом, полным сладкого крема.

— С Днём Рождения, — сказал Щенок.

Что из себя представлял год? Всё и ничего. Он означал течение времени. Движение планет вокруг солнца. Убывающие и растущие фазы луны, убывающие и растущие фазы чакры, протянувшейся по всему миру. Год ничего не значил для Курамы, когда тот был выше гор, когда он был мощью, чистой энергией, воплощением чакры, и он значил всё теперь, когда он

был маленьким, красноволосям и фиолетовоглазым, с ключом к свободе с таймером обратного отсчета.

Год. Целый год, потраченный в этой унижительной, нелепой, невозможной оболочке. Целый год.

И в любом случае, что же из себя представлял День Рождения? Тоже всё и ничего. Курама очень давно не праздновал дни рождения. Учитывая, сколько лет было Кураме, они были глупы и бессмысленны. Но он помнил — давным-давно, когда Старик Мудрец ещё был жив, когда Курама ещё был мал, близок и любим, до того как он и его братья получили благословение Отца и были отпущены в мир. До того как Отец умер ради этого.

На самом деле, у Хвостатых не было дней рождения. Они были рождены из чудовищной оболочки их бабушки, разделённые части силы Десятихвостого, сконцентрировавшиеся достаточно, чтобы сформировать собственные сознания. Курама был самым младшим из них, ему потребовалось больше всего времени, прежде чем его часть чакры стала достаточно стабильной, чтобы думать. Все их рождения, впрочем, произошли в подсознании Отца. И там было сложно измерять время. Час снаружи мог быть годами и годами в идиллическом месте, где Курама провёл детство.

Но Отец верил в дни рождения. Он верил в празднование. Он верил в приходы совершеннолетия, в эти вехи. Так что даже пускай и не существовало определённой начальной даты, а отрезки времени посередине порой становились неопределёнными, Курама и его братья праздновали.

— Не было солнца, когда вы были рождены, — сказал им Хагоромо. Это была отсылка к тому, как он и его брат бросили тело Десятихвостого в небо, создав Луну, бледную, сияющую и зловещую в своей красоте, и как она затмила собой солнце. — Да, тогда мы и должны праздновать.

Так они и делали.

Каждый раз, когда солнечное затмение делало мир снаружи тёмным и чёрным, Отец собирал Кураму и его братьев вместе. Он менял пейзаж своего разума взмахом посоха — черная ночь, мерцающие звёзды, огромный трещащий костёр, подсвечивающий волосы Отца жёлто-оранжевым светом. Они вместе повторяли свои обеты (и дитя-Курама мысленно закатывал глаза, потому что конечно они будут делать то, о чем их попросил Отец, это же здравый смысл).

Хор их голосов заставлял воздух дрожать.

— И все должны быть равны в достоинстве, значимости, уважении. Ибо каждый грех может быть прощён, если искать прощения. Ибо я подниму твердь, очищу воду, вдохну жизнь там, где царит лишь запустение. Ибо я буду хранить мир, ибо я буду добр, ибо я буду терпелив. Ибо я не буду вредить, пока не вредят мне. Ибо, во имя этого нового века, я буду всегда следовать этим

правилам и учить других знать и ценить их. Ибо я сделаю всё возможное.

После Отец целовал их в лоб и давал им подарки и благословения — ничего материального, конечно, но это были знания, стоящие на вес золота и любви. Они играли в игры при свете костра. Игра в слова была самой популярной, и Мататаби с Отцом были в ней чемпионами. Шукаку и Исобу, самые старшие, тихо развлекались в уголке. Курама и Сон Гоку каждый раз соревновались в ловле Чомея, борясь, сталкиваясь и прыгая друг через друга в попытках схватиться за крыло. Чомей переносил это всё с удивительным терпением, лишь шлёпая их по носу.

Курама не праздновал дней рождения веками и столетиями, но он помнил. Они были чёрными небесами, костром, смехом и морщинистой улыбкой Отца. Всеми обетами, что приносил Курама, и что были давным-давно нарушены. Его братьями, не разделёнными пропастью. Радостью, простой, подавляющей и восхитительной.

Они не были единственной пустой комнатой, крошечным пирожным и человеческим подростком с чем-то сломанным столь глубоко внутри, что его уже нельзя починить, не с помощью человеческого младенца, держащего ключ к свободе Курамы, висящий словно цепь на его шее.

Десятое октября: Курама не лёг спать, чтобы посмотреть за тем, как поднимается луна, эта серебристая долька в небе. Он чувствовал напряжение в груди, похожее на твёрдый узел. Слишком много времени прошло с тех пор. Слишком мало времени осталось. Слишком много и слишком мало.

Этой ночью ему снился свет костра и голубое сияние шерсти Мататаби. Ему снился Чомей, летящий так высоко, что ни Курама, ни Сон не могли его достать.

— Терпение, братик, — тихо сказал позабавленный Исобу.

Тысячи молитв, прочтённых Курамой за долгие годы:

— И я буду ко всем относиться как к равным.

Красная луна. Никакой луны.

— Давным-давно, — сказал Отец. — Ваша бабушка совершила непозволительное.

Присутствие Отца было на вкус как солнце, звёздный свет и мёд. Курама чувствовал, как оно накрывает его, и ему снились потерянные годы, когда он был юн, мал и любим.

Примечания:

- 1) Курама самый ворчливый ребёнок в мире. А ещё он самый Узумаки, но тс-с, не говорите ему этого.
- 2) Какаши пытается. Он не очень хорош, но он пытается.
- 3) Кураму растили пацифистом. Пацифизм, к сожалению, не перенёс присутствия ниндзя.

<http://tl.rulate.ru/book/58665/1500349>